

Нет в мире виноватых

первая редакция

1

Порхунов, Иван Федорович, предводитель дворянства большого богатого уезда одной из великорусских губерний, вчера еще на ночь приехал из деревни в уездный город и, выспавшись на своей городской квартире, в одиннадцать часов утра приехал в присутствие. Дел оказалось пропасть: и земское собрание, и по опеке, и воинское присутствие, и санитарный и тюремный комитет, и училищный совет.

Порхунов был потомком старого рода Порхуновых, владевших с древних времен большим селом Никольским-Порхуновым. Воспитывался он в Пажеском корпусе, но не пошел в военную службу, а поступил в университет и кончил там курс по словесному факультету. Потом служил недолго при генерал-губернаторе в Киеве, женился там по любви на девушке, стоявшей ниже его по общественному положению и бедной, баронессе Клодт, вышел в отставку и уехал в деревню, где его на первых же выборах выбрали в предводители, – должность, которую он исполнял третье трехлетие.

Порхунов был человек и умный, и образованный – он много читал и обладал большою памятью и умением выражать мысли ясно и кратко. Главная же хорошая черта его, вызывавшая почти общую любовь к нему, была его скромность. Мнение его о своих внешних качествах: образование, честность, доброта, правдивость, [было] очень низко именно потому что [он] постоянно старался не переставая как можно больше образовывать себя, старался быть как можно честнее, добрее, правдивее. Так что видимый знаменатель своего мнения о себе был очень мал в Иване Федоровиче, и людям, с которыми он входил в сношения, он представлялся именно таким, каким и должен и не может быть иным, – всегда приятный, добрый, честный, правдивый Иван Федорович. Жизнь вел Иван Федорович, по понятиям того круга, в котором он жил, нравственную – не делал неверности жене, не кутил (период кутежей прошел для него очень быстро, во время его жизни в Киеве до женитьбы), с крестьянами своего имения и вообще работниками был только настолько требователен, насколько это было необходимо для того, чтобы могло идти хозяйство. В политических вопросах был просвещенным консерватором, считал, что лучше вносить свою долю просвещенного и либерального влияния в существующий строй, чем желать того, чего нет, всех и все осуждать и самому не участвовать в делах правительства. Он должен был быть выбран в Думу, если бы не появился более привлекательный для избирателей кандидат, бывший профессор, хороший оратор, который и был выбран вместо Ивана Федоровича.

В самом главном для каждого человека – в религиозном вопросе – Иван Федорович был также просвещенным консерватором. Он не позволял себе и тени сомнения в догматах православной церкви, хотя и допускал, с точки зрения науки, исследование, в особенности историческое, о вопросах веры, и был очень начитан в этой области. Но в высшей степени был осторожен по отношению самых догматов. Всякие рассуждения в беседах или в книгах проходил молчанием. В жизни же регулярно и неуклонно исполнял все церковные правила, не говоря уже совершения таинств, но и крестного знамени в определенных случаях и ежедневно утром и вечером молитвы, которой он был научен еще матерью. Вообще он с особенной осторожностью оберегал тот фундамент, на котором свойственно стоять человеческой жизни, но сам не становился на него, как бы сомневаясь в его твердости. В жизни, в беседах, в разговорах был в высшей степени приятен, умел кстати вспомнить цитату, анекдот. Вообще был остроумен, умел шутить и рассказывать самое смешное с спокойным и серьезным видом. Любил охоту и всякого рода игры, шахматы, карты, и играл хорошо.

2

В середине занятий с секретарем вошел председатель земской управы, крайний реакционер, но с которым Порхунов был, несмотря на различие взглядов, в самых лучших отношениях.

Потом пришел доктор: совершенно противоположных взглядов, демократ, чуть не революционер. С ним Порхунов был в еще лучших отношениях и, добродушно посмеиваясь, спрашивал его иногда о том, скоро ли объявление российской социалистической республики, на что доктор также отвечал шуткой.

– Ну что, Иван Иванович (это был председатель управы), как поигрываете, не попадаетесь, как тот раз, без шести? – обратился он к председателю управы. – Но шутки шутками, а пора начинать. Дела пропасть.

– Да, пора.

– Только у меня к вам обоим, любезные сотрудники, просьба: выскажу вам, а потом и в присутствие. – И на вопрос доктора, о чем просьба, Порхунов рассказал, что бывший у его детей

учитель-студент уходит и ему нужен учитель. – Знаю, – к председателю управы, – у вас люди знакомые в этой области, и у вас также, – к доктору. – Так не можете ли мне рекомендовать?

– Да ведь мои знакомые слишком, как сказать... прогрессивны для вас.

– Ну вот. Ведь уживался же с Неустроевым, а уж на что красен.

– А что же ваш Неустроен?

– Уходит. Вы говорите, ваши знакомые слишком красны для моего дома. Уж на что красней Неустроев. А уживался ж я. И даже искренно полюбил его. Славный юноша. Разумеется, как должно по нынешним временам, в голове каша, да и еще сырая, неупревшая, несъедобная, но он по душе хороший малый, и мы с ним дружили.

– Отчего ж он уходит?

– Он мне не говорит правды. Необходимость лгать входит ведь в программу революционеров. Но не в том дело. Приезжал к нему какой-то его друг. Останавливался на деревне у Соловьева и виделся с ним. Очевидно, его партия или фракция, группа (Иван Федорович особенно выставил два п), или как это у вас называется, потребовала его, и он заявил, что не может больше оставаться. А хороший был, добросовестный учитель и, повторяю, малый прекрасный, несмотря на то, что ваш брат революционер и, очевидно, принадлежит к группе, – прибавил Порхунов, улыбаясь и похлопывая по коленке доктора.

Доктор, как и почти все, подчинился ласковой улыбке и сам улыбнулся. «Барич, аристократ, реакционер в душе, а не могу не любить его», – подумал доктор.

– Отчего бы не взять Соловьева? – сказал председатель управы.

Соловьев был сельский учитель в школе имени Ивана Федоровича, человек очень образованный, бывший семинарист и потом студент.

– Соловьева? – улыбаясь, сказал Иван Федорович. – Я бы взял, да Александра Николаевна (жена Порхунова) не допускает и мысли взять его.

– Отчего? Что пьет. Ведь это только редко с ним бывает.

– Пьет – это бы еще ничего. А за ним более важные нарушения высших законов, – сказал Порхунов, делая то спокойное и серьезное лицо, при котором он высказывал свои шутки, – для Александры Николаевны он невозможен, он, страшно сказать, «с ножа ест».

Собеседники засмеялись.

– Есть у меня семинарист, просящий место, да он вам не понравится. Слишком уж он консервативен.

– Вот то и беда – мой слишком либеральный, а Ивана Ивановича слишком отсталый. Впрочем, у меня есть один юноша. Я напишу ему.

– Ну вот. Это дело если не кончено, то начато, пойдем начинать другое. Степан Степаныч, – обратился он к секретарю, – собрались?

– Собрались, пожалуйста.

Началось с воинского присутствия. Один за другим входили молодые парни; были холостые, но большинство были женатые. Задавались обычные вопросы, записывали и, не теряя времени, так как много было работы впереди, выпроваживали одних и призывали других. Были такие, которые не скрывали своего огорчения и насилу отвечали на вопросы, как бы не понимая их, – так они были подавлены. Были и такие, которые притворялись довольными и веселыми. Были и такие, которые притворялись больными, и были и такие, которые были точно больны. Был и один такой, который, к удивлению присутствующих, попросил позволения сделать, как он сказал, заявление.

– Какое заявление? Что тебе нужно?

Просивший сделать заявление был белокурый курчавый человек с маленькой бородкой, длинным носом и нахмуренным лбом, на котором во время речи постоянно содрогались мускулы над бровями.

– Заявление в том, что я в солдатах, – он поправился, – в войске служить не могу. – И, сказав это, у него задрожали не только мускулы лба и левая бровь, но и щеки, и он побледнел.

– Что ж, ты нездоров? Чем? – сказал Порхунов. – Доктор, пожалуйста...

– Я здоров. А не могу присягать, оружия брать не могу по своей убеждению.

– Какое убеждение?

– А то, что я в бога верую и Христа верую и убийцей быть не могу...

Иван Федорович оглянулся на сотоварищей, помолчал. Лицо его сделалось серьезно.

– Так, – сказал он. – Я вам (он сказал уже «вам», а не «тебе») доказывать не могу и не считаю себя к этому обязанным, можете или не можете вы служить. Мое дело зачислить вас как принятого. А свои убеждения вы выразите уж своему начальству. Следующий...

Воинское присутствие протянулось до двух часов. Позавтракав, опять взялись за дела: съезд земских начальников, потом тюремное, и так дальше – до пяти часов.

Вечер Иван Федорович провел на своей квартире, сначала подписывая бумаги, а потом за винтом с председателем, доктором и воинским начальником. Поезд шел рано утром. Не выспавшись, он встал

рано утром, сел в поезд, вышел на своей станции, где ждала его прекрасная, с бубенчиками, тройка карачи своего полурисистого завода и старый кучер Федот, друг дома. И к девяти часам утра подъезжал мимо парка к большому двухэтажному дому в Порхунове-Никольском.

3

Семья Егора Кузьмина состояла из отца, уже стареющего и пьющего человека, и меньшего брата, старухи матери и своей молодой жены, на которой его женили, когда ему было только восемнадцать лет. Работать ему приходилось много. Но работа не тяготила его, и он, как и все люди, хотя и бессознательно, но любил земледельческий труд. Он был способный к умственной деятельности человек и в школе был хорошим учеником и пользовался всяким часом досуга, особенно зимой, чтобы читать. Учитель любил его и давал ему книги образовательные, научные, и по естественным наукам, и по астрономии. И когда ему еще было только семнадцать лет, в душе его совершился изменивший все его отношение к окружающему переворот. Ему вдруг открылась совершенно новая для него вера, разрушившая все то, во что он прежде верил, открылся мир здравого смысла. Поражало его не то, что поражает многих людей из народа, когда для них открывается область науки, – величие мира, расстояния, массы звезд, не глубина исследования, остроумных догадок, но поразило, главное, больше всего здравый смысл, признаваемый обязательным для всякого познания. Поразило то, что надо верить не тому, что старики сказывают, даже не тому, что говорит поп, ни даже тому, что написано в каких бы то ни было книгах, а тому, что говорит разум. Это было открытие, изменившее все его мировоззрение, а потом и всю его жизнь.

Скоро после этого к ним приехавшие на праздник из Москвы жившие там на заводе молодые люди их деревни привезли революционные книги и свободные речи. Книги были: «Солдатский подвиг», «Царь-голод», «Сказка о четырех братьях» и «Пауки и мухи». И книги эти подействовали на него теперь особенно сильно.

Они теоретически объяснили значение того, что он не только видел и понимал, но боками своими чувствовал. У него и отца было два с половиной надела, две с половиной десятины. Хлеба не хватало в средние года, про сено и говорить нечего. Мало того, летом кормить скотину, коров для молока ребятам, было не на чем. Пары были обглоданы до земли, и как только не было дождя, голодная скотина мычала без корма, а у купца и у барыни-соседки сады, леса, поляны, луга, – приходи за деньги – пятьдесят в день – косить. Им накосишь, они продадут, а твоя скотина ревет без корма, и ребята без молока. Все это было и прежде, но он не видал этого. Теперь же он не только видел, но чувствовал всем существом. Прежде был мир суеверий, скрывавший это. Теперь ничто уже не скрывало для него всю жестокость и безумие такого устройства жизни. Он не верил уже ни во что, а все проверял. Проверяя экономическую жизнь, он увидел не только ужасающие неправды, но еще более ужасную нелепость. То же самое он увидел и в религиозной жизни окружающих. Но ему казалось это не важно, и он продолжал жить, как все, – ходил и в церковь, и говел, и посты соблюдал, и крестился, садясь за стол и выходя, и молился утром и вечером.

4

На зиму Егор поехал в Москву. Товарищи обещали ему место на фабрике. Он поехал, и место вышло, двадцать рублей в месяц, и обещали прибавку. Здесь, в Москве, среди фабричного народа, Егор увидел с такой же ясностью, как он видел в деревне, всю жестокость и несправедливость положения крестьянина, еще худшее положение фабричного. Люди, женщины, слабые, больные дети по двенадцать часов в сутки, убивая свои жизни, работали какие-нибудь ненужные глупости для богачей: конфеты, духи, бронзы и всякую дрянь; и эти богачи спокойно забирали в свои лопающиеся от избытка сундуки деньги, добываемые этими затратами жизней человеческих. И так шли поколения за поколениями, и никто не видел, не хотел видеть ни неправды, ни безумия этого. В Москве он еще больше стал ненавидеть людей, творящих неправду, и стал все больше и больше надеяться на возможность уничтожения этой неправды. Но он не дожил в Москве и месяца. Его арестовали в собрании рабочих, судили и присудили на три месяца тюрьмы.

В тюрьме, в общей камере, он сначала сошелся с такими же социал-революционерами, как и он, но потом, чем ближе он узнавал их, тем больше его отталкивало от них их самолюбие, честолюбие, тщеславие, задор. Он еще серьезнее, строже к себе стал думать. И тут случилось то, что в их камеру был посажен крестьянин за поругание святыни, то есть икон, и общение с этим кротким, всегда спокойным и ко всем любовным человеком открыло еще более простое и разумное понимание жизни. Человек этот, Митечка, как его прозвали все уважавшие его сожители, объяснил ему то, что все зло, все грехи мира не оттого, что злые люди людей обижают, отняли землю, труды отбирают, а оттого, что сами люди не по-божьи живут. Живи только по-божьи, и «никто тебе ничего не сделает», что вера вся в Евангелии. В

Евангелии. Попы его все перевернули. Надо жить по Евангелию, а не по поповской вере. А по Евангелию жить надо не служить князю мира сего. А только богу.

И Егор стал понимать все больше и больше и, когда вышел из тюрьмы, разошелся с прежними товарищами и стал совсем по-иному жить. На место прежнее его не взяли, и Егор поехал к отцу и жене и стал, как прежде, работать. И все бы было хорошо, да теперь уж Егор не мог по-прежнему исполнять все церковные обычаи, перестал ходить в церковь, не соблюдал посты, даже не крестился. И когда отец и мать укоряли его, старался толковать им, но они не понимали. Отец даже раз, пьяный, побил его. Егор сдержался. Но отпросился опять в Москву и уехал. В Москве долго не было места, и потому не мог посылать денег, а отец сердился и писал ему так:

«вопервых строках моего письма дорогому моему сыну Егору Иванову от матушки вашей Авдотьи Ивановни посылаю я тебе свое родителское благословения которое может служить погроб вашей жизни навеки нирушымай и посылаю я тебе niskой поклон и желаю быт здоровым навсегда благополучным дорогому нашему братцу Егору Ивановичу от сестрицив ваших варвари и Анни и Александри Ивановых посылаем мы тебе по niskому поклону и желаем быт здоровым дорогому моему супругу Егору Иванову от супруги вашей варвари михалловни и здочкою нашей катериной егоровни посылаю я тебе свое супружеское почтения niskой поклон и желаю я тебе быт здоровым и навсегда благополучным милой мой сын Егор Иваныч пополучению моего письма Абирай свою жену и Ачищай мою квартиру чтобы ей небыло А я сней жить нимогу и она пажаловалас своим родним бывто я не учая что ты деник нишлеш и Атымаю весноряд который мы купили и Астрамили мою сестру навсю диревню смеху наделали А я и ничево и низнаю Я ей слова ниговорил ни проденьги ни проноряд А если ты ее ни возмеш то я своим судом ее выгоню вон чтобы небыло ей унас вдому наетои нидели Ачистит квартиру а еще повестку принес урядник тебе на ставку иттить».

Получив это письмо, Егор приехал домой и, молча выслушав ругательства отца и жалобы жены, пеший пошел в город на ставку.

5

В тот самый поздний вечер, во время которого Иван Федорович Порхунев не мог удержаться от охватившей его радости о том, что он так искусно передал доктору, бывшему его партнером, семерку бубен с тем, чтобы он, отыграв свои, передал ему в руку, и большой шлем без козырей был бы выигран, и что все совершилось так, как он предвидел, – в это самое время в большой гостиной его старинного дома в Порхуневе-Никольском жена Ивана Федоровича, Александра Николаевна Порхунева, беседовала с уезжавшим от них, прожившим у них десять месяцев учителем, тем самым Неустроевым, о котором Иван Федорович говорил в городе с своими сослуживцами.

Александра Николаевна, несмотря на свои сорок пять лет и шестерых детей, была еще красива той вечерней или осенней красотой сильной женщины перед закатом женской жизни. Большие серые глаза, прямой нос, густые вьющиеся волосы, чувственный рот еще со всеми, чужими или своими, но белыми зубами, белый нежный цвет лица и такие же прекрасные, выхоленные руки с двумя перстнями. Нехорошо было в ней только излишняя полнота и чрезмерно развитая грудь. Одета она была в простое, но модное шелковое платье с белым воротничком. Она сидела на диване и горячо, взволнованно говорила, внимательно и напряженно вглядываясь в глаза молодому человеку, сидевшему против нее.

Он был невысокий, худощавый, правильно сложенный человек, с неразвитыми мускулами и добрым, умным лицом, с узко прорезанными глазами, густыми, коротко обстриженными волосами, резкими черными бровями и такими же усами и бородкой. Невольно бросающейся в глаза чертой его лица был его выдающийся подбородок с ямочкой посередине.

– То, что я говорю, я говорю вам не для себя – как мне ни жалко лишиться вас... для детей, – сказала она и покраснела. – Но я для вас, любя, принимая участие в вас, советую, очень советую – не уезжать. Ну, сделайте это... для меня, – сказала она с тем выражением женщины, верящей в свою силу.

Лицо его всегда было серьезно и строго, и потому улыбка на этом строгом лице, особенно среди черноты волос и загорелого лица выставлявшая яркие белую зубы, была прекрасная, притягивающая и заражающая. Он и сейчас улыбнулся этой улыбкой, не мог удержаться не улыбнуться от удовольствия, которое доставили ему ее слова, в которых он не мог не видеть того, что в них было нечто большее, чем простое участие, не мог не видеть того, чего он всегда боялся: вызова чувственности, против которой он знал, что не в силах устоять. Но это было совершенно бессознательное чувство. Он не только сам себе, но никому бы не поверил в то, что эта гордая женщина, аристократка, эта хозяйка большого дома, мать детей, может иметь к нему, к врагу аристократов, буржуа, – она знает это, – такое чувство. Он не верил этому, но чувствовал то, во что не верил.

– Не могу, Александра Николаевна. Не могу и не могу, как мне ни дорого ваше доброе чувство ко мне.

– Доброе! Не доброе, а гораздо больше и совсем дру... Ну, да все равно. Только не ездите.

Он опять улыбнулся.

– Хотите, я скажу правду, всю правду, игнорируя всю относительную разницу наших положений. Если бы и любил вас, как любит мужчина женщину, я бы не отдался этой любви ввиду различия наших мировоззрений.

– Да почему вы думаете, что я не всей душой с вами. Я не могу не быть с вами... – Она помолчала. – Прошедшего не воротишь. Но и чувство не удержишь. Послушайте, еще раз прошу вас: не уезжайте. Не уедете? Да? – и она протянула ему руку. Он взял за руку.

– Александра Николаевна, ведь с тех пор, как узнал вас, понимал вас – любил (он с трудом выговорил это слово), любил вас.

Он сам не знал, что он говорил. Он лгал, но все теперь казалось ему позволено для достижения вдруг представившейся и неудержимо манившей цели.

– Да?

– Да и да, всеми силами души, как может любить пролетарий, как я, снизу вверх.

– Не говорите, не говорите.

Они были одни, и случилось то, чего не ожидал ни он, ни она, и что в один час погубило всю ее восемнадцатилетнюю замужнюю счастливую и чистую жизнь, и что для него осталось навсегда мучительным воспоминанием.

Было два часа ночи, она все еще не спала и вспоминала то, что было, с ужасом и наслаждением, и сознание ужаса своего положения увеличивало наслаждение воспоминания об его любви.

6

Михаил Неустроев был сын умершего от пьянства ветеринарного фельдшера. Мать его, необразованная женщина, была жива и жила у его брата Степана, магистра государственного права, оставленного при университете.

Сам он был студентом университета уволен вместе с другими товарищами за революционную деятельность.

Как и не могло быть иначе в то время, в которое он жил, Неустроев, особенно после изгнания из университета, как даровитый, нравственный и решительный человек, попал в кружок революционеров. Кружок этот ставил своей задачей изменение существующего правительства разными способами и в том числе и устранение (убийством) самых вредных лиц. В самом начале участия Неустроева провокатор, шпион, выдал членов кружка, захватили некоторых, но самые важные скрылись. Неустроев же и вовсе не был привлечен к суду. Оставшись на свободе, Неустроев решил пожить в деревне среди народа и для этого согласился, по совету Соловьева, принять на время место учителя у Порхуновых. Так он и прожил у них десять месяцев, но три дня тому назад приезжал к Соловьеву, где Неустроев виделся с ним, его товарищ по партии и привез ему от исполнительного комитета требование приехать в Москву для важного дела, в котором он был нужен. Дело это было завладение деньгами казначейства для расходов партии. Нужны были энергические люди, и приглашали Неустроева. Это-то и вызвало его отказ от места и то странное, случившееся с ним в этот вечер неожиданное событие, которое еще больше, чем все другое, поощряло его к немедленному отъезду. Поезд шел только на другой день утром. И он решил зайти к другу своему, сельскому учителю Соловьеву, переночевать у него, от него послать за своими вещами и, не возвращаясь в дом, уехать.

Так он и сделал.

Соловьев жил в самой школе, в задней комнатке с одним окошком. Неустроев никого, кроме сторожа, не встретил на деревне. Ночь была темная, и сторож строго окликнул его.

– Я, Неустроев.

– Кто я?

– Да с барского двора.

– А, куда же бог несет?

– Да к Петру Федоровичу. Что, он дома?

– А где же ему быть. Спит, я чай.

Неустроев подошел к окну школы и начал стучать. Долго никто не отзывался. Потом вдруг совсем бодрый, энергичный, веселый голос прокричал:

– Кого бог дает? Говори, не то оболью.

И слышно было, как босые ноги подошли по скрипучим доскам к окну.

– А, Миша! Ты чего ж по ночам бродишь? Иди, иди в дверь, отопру.

Соловьев впустил Неустроева, засветил лампочку и, усевшись на промятую лодкой кровать, потирая одну босую ногу о другую, стал расспрашивать Неустроева о том, зачем он пришел и что ему

нужно. В комнате, кроме кровати, был стол в красном углу, и в угле иконы, много икон, лампадка, и у стола два стула. Один угол был занят книгами, другой – чемоданом с бельем. Неустроев сел у стола и рассказал Соловьеву, что он простился со всеми и уезжает по тому делу, о котором Соловьев знает. Соловьев слушал, сгибая голову на сторону и кося глазами.

Соловьев был немного постарше Неустроева и совсем другого склада. Он был повыше ростом, немного сутуловат, с длинными руками, которыми он, разговаривая, особенно часто и широко размахивал. Лицо же Соловьева было уж совсем другое, чем лицо Неустроева. Прежде всего останавливали на себе в лице Соловьева большие, почти круглые, лазурно-голубые добрые глаза под нависшим широким лбом. Волос у него было много, и все они курчавились, и на голове и на бороде; нос скорее широкий, и рот большой. Улыбка, очень частая, открывала гнилые зубы.

– Ну, что ж, – сказал Соловьев, когда Неустроев рассказал все, что хотел. – Ну, что ж, пошлем. Только знаешь что... – Начал Соловьев, махая правой рукой, а левой поддерживая сползающее одеяло.

– Знаю, знаю, знаем твои теории, да только очень уж они медлительны.

– Тише едешь...

– И без бога ни до порога? Так ведь это все мы знаем.

– Вот и не знаешь. Не знаешь, потому что бога не знаешь. Не знаешь, что такое бог.

И Соловьев начал излагать свое понимание бога, точно как будто это было не в два ночи, когда его разбудили среди первого сна, и не один на один с человеком, с которым он уже говорил об этом же десятки раз и про которого знал, что он, как он сам выражался, непромокаем для религиозной жидкости. Неустроев слушал и улыбался, а Соловьев говорил и говорил. Он знал, что вызывают Неустроева на какое-нибудь террористическое дело, и, хотя не отказывался быть посредником между ним и его товарищами, считал своим долгом сделать все, что может, для того, чтобы отговорить его.

Неустроев слушал его, иногда улыбался. И когда Соловьев на минуту остановился, сказал:

– Все это хорошо тебе говорить, когда у тебя ожидаемая награда вот от них, – он указал на иконы, – есть, а нашему брату надо только делать, что можешь, пока живешь, и делать не для себя.

Соловьев в это время вертел папиросу.

– Ты говоришь, – горячо заговорил Соловьев, – награда моя там, – он указал на потолок. – Нет, брат, награда моя вот где, – он кулаком ударил себя в грудь. – Тут она, и делать, что я делаю, я делаю не для других, – черт с ними, с другими, – а для бога и для себя, для того себя, который заодно с богом.

И он закурил папиросу и жадно стал затягиваться.

– Ну, эта метафизика мне не по силам. Так я засну.

– Ложись, ложись.

7

Неустроев, как решил, рано утром послал сторожа за своими вещами и, получив их, нанял телегу и уехал на станцию. Соловьев же спал и не слышал, как он ушел.

Проснувшись же, он, как и всегда, встал перед иконами и прочел все с детства произносимые молитвы: «отче наш», «верую», помянул родителей (они уже умерли), «богородицу» и последнюю «царю небесный», которую он особенно любил: «Приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наши». Он произнес нынче с особенным чувством, вспоминая свой разговор с Неустроевым.

На душе ему было очень хорошо. Спать уже не хотелось. Было воскресенье, школы не было, и он решил сам снести письма на почту. Почтовая контора была за две версты. Он умылся, посоображал, на сколько времени еще станет ему обмылок, начатый на праздниках. «Если дотянет до пасхи, то все хорошо будет», – думал он, не определяя того, что будет хорошо. Потом надел сапоги большие, потом пиджачок, очень требующий починки, так как правая рука попадала всегда в дыру вместо рукава. «Надо будет вдову Афанасьевну попросить», – подумал он и тотчас же вспомнил о Наталье, дочери Афанасьевны, и за те мысли, которые пришли ему о Наталье, сам на себя укоризненно помотал головой. Чудесный белый снег, прикрывший все, и свежий, холодный воздух еще более радостно возбудил его. На станции он отдал свое одно письмо и получил письмо, очень нерадостное для него. Письмо было от его брата меньшего, несчастного двадцатилетнего малого, не кончившего семинарии (Соловьев был сын дьякона), поступившего в лавку к купцу, уличенного там в краже, поступившего потом в писцы к становому и там сделавшего что-то нечестное. Брат описывал свое бедственное положение, что он по два дня не ест, и просил денег. У Петра Федоровича денег было мало; он получал сорок рублей в месяц и много раздавал и тратил на книги, так что теперь у него было всего семь рублей шестьдесят копеек. Он пересчитал их тут же, – а надо было Афанасьевне за харчи отдать. Нечего делать, решил трешницу послать, а с Афанасьевной как-нибудь справлюсь. Но грустно было то, что Вася (так звали брата) пропадает, и помочь нельзя. Не послать деньжонок нельзя, а послать – он повадится. Надо отказать не

столько для себя, сколько для него, и отказать нельзя.

Так, с этим неразрешенным вопросом, он пошел домой, рассуждая иногда вслух сам с собою. Уж и белый снег не так радовал его. По пути нагнал его мужичок из Никольского, той деревни, в которой учил Соловьев, на санках, и, поздоровавшись, предложил подвезти. Петр Федорович сел, и они разговорились. Мужичок не без умысла предложил подвезти учителя. Мужик ездил к земскому по судебному делу. Его сестру, вдову, старую женщину, в соседнем селе, земский приговорил на три месяца в тюрьму за то, что она просила господ отсрочить оброк, а они не отсрочили, и старшина приехал к вдове, потребовал оброк. Сестра сказала:

– И рада бы отдать, да нечем; повремените, мол, справлюсь, отдам.

Старшина слушать не стал, давай сейчас.

– Да говорю, что нету.

– Нету, корову веди.

– Корову не поведу, у меня ребята, нам без коровы нельзя.

– А я приказываю – веди.

– Не поведу, говорит, сама. Если, говорит, ваша власть, ведите, а я не поведу.

– Так вот [за] эти самые слова земский призвал, приговорил на выsidку, а ей как детей оставить?

Так вот ездил просить за сестру. Нельзя, говорит. Состоялся, значит, и крышка. Нельзя ли, Петр Федорович, батюшка, похлопочите как.

Соловьев выслушал, еще ему грустней стало.

– Надо, – говорит, – попытаться на съезд подать. Я напишу.

– Батюшка, отец родной.

Слез в деревне Соловьев с саней, пошел домой к себе. Сторож ему самовар поставил. Только сел чай пить с Федотом и закурил, как пришла баба от соседей. Вся в крови, избил ее муж за то, что холстов ему пропить не дала.

– Усовести ты его, ради Христа, он, может, тебя послушает. Мне и домой не велел приходить.

Пошел Петр Федорович. Баба за ним, а мужик в дверях стоит. Начал Петр Федорович говорить:

– Нехорошо ты, Пармен, делаешь, разве это можно?

Не дал Пармен ему и слова договорить.

– Ты свое дело помни, ребят учи, а я как знаю, так и учу, кого мне надо.

– Побойся ты бога.

– Бога-то я боюсь, тебя не боюсь. Ступай себе своей дорогой, а то поди, как намесь, набузуйся пьян, тогда и учи самого себя, а не людей. Так-то. Буде толковать. Иди домой, что ль, – крикнул мужик на жену. И оба вошли в избу и захлопнули дверь.

Петр Федорович постоял, покачал головой и пошел не домой, а к Арине, торговавшей вином, взял полбутылки и начал пить и курить и, когда напился и накурился, уж совсем пьяный, пошел к Афанасьевне.

Афанасьевна покачала головой, увидав его.

– Что ж ты сомневаешься, что я пьян? Не сомневайся – пьян; а пьян потому, что слаб, а слаб потому, что нет во мне бога. Нету. А Наталья где?

– Наташа на улицу пошла.

– Ах, Афанасьевна, хороша твоя девушка, я люблю ее, только бы поняла она жизнь настоящую, я бы посватал. Отдашь?

– Ну, будет болтать пустое. Ложись лучше, поспишь до обеда.

– Можно, – и Петр Федорович залез на полати и довольно долго что-то внушал Афанасьевне о праведной жизни, но когда Афанасьевна вышла из избы, он заснул и проспал до обеда.

8

Петр Федорович Соловьев был сын дьякона Костромской губернии большого села Ильинского. Отец отдал его в духовное училище. Из училища он первым учеником поступил в семинарию. И в семинарии все время шел и кончил одним из лучших учеников. Как всем кончающим курс в семинарии, предстоит выбор: монашество, с возможностью высших церковных должностей, или священство, связанное с обязательной женитьбой. Соловьев, выйдя из семинарии, выбрал первое. В выборе этом руководило им никак не честолюбие, а, напротив, желание жить для души, для бога. Но еще до пострижения мысли его вдруг изменились: изменились преимущественно потому, что не только товарищи его, но и начальство прямо высказывали ему уверенность в том, что он достигнет высших иерархических степеней. Более всего в этом отношении подействовало на него увещание архиерея, узнавшего о том богословском споре, который вел Соловьев с преподавателем о значении вселенской церкви, споре, в котором владыка признавал правым Соловьева. Архиерей, призвав к себе Соловьева,

сказал ему следующее:

– Знаю и слышал про тебя все похвальное, и хотя в прении твоём с отцом Макарием истина на твоей стороне, ты не должен был предаваться своей горячности и должен был сдерживать себя, дабы не оскорбить старшего. Помни всегда, что в том положении церковного первенства, к которому ты стремишься и которого, по всем вероятностям, достигнешь, нужна осторожность и мудрая сдержанность. Иди теперь.

И, выслушав эти слова, Соловьев вдруг понял, что в душе его рядом с желанием служить богу и жить для души жило другое, гнусное чувство: желания чести и славы людской. И, поняв это, он вдруг стал сам себе так противен, что решил оставить путь монашеский. Но, оставляя путь монашеский, неизбежное условие вступления на путь священства была женитьба. Отец, еще живший тогда, приготовил ему уже невесту и приход. Но мысль женитьбы только для того, чтобы стать священником, была так неприятна Петру Федоровичу, так казалась ему противна нравственности, что он не мог решиться на этот шаг и отказался, к великому огорчению родителей, и от священнического места.

Оставалось одно – народное учительство. И Соловьев поступил на место народного учителя в село Никольское-Порхуново. Место, доставленное ему полюболюбившим его учителем, – Соловьев имел всегда счастье быть любимым очень многими, – было очень выгодно, так как, кроме жалованья по школе, он получал хорошо оплачиваемые уроки детям в доме уездного предводителя Порхунова. Соловьев и поступил в дом Порхуновых и жил там, уча детей, но очень скоро он не понравился Александре Николаевне и за то, что он был грязен, ел с ножа, и, главное, раза два напивался пьян с крестьянами. Александра Николаевна как-то сказала ему, что, живя в порядочном доме, нельзя позволять себе... Она не успела закончить, как он перебил ее:

– Очень благодарю вас, Александра Николаевна, за вашу ко мне снисходительность, что вы так долго терпели меня. Простите. Я не буду больше срамить... нет, нет, просто утруждать вас.

И, прожив еще несколько недель, до тех пор пока не приехал новый учитель, Неустроев, он переехал в школу, к великому сожалению детей, особенно двух маленьких: восьмилетней Тани и десятилетнего тезки Пети.

С тех пор уже более года он жил в деревне и не заходил к Порхуновым, а отвечал дружбой на выказываемую ему дружбу Неустроевым.

Неустроев никак не мог понять и куда-нибудь причислить Соловьева. Он был уж никак не консерватор, не монархист, напротив, но не был и революционер, а между тем по убеждениям был народник и ни в чем не расходился с социалистами. И вместе с тем был как-то странно православный, соблюдал посты, праздники, ходил в церковь, причащался и любил Евангелие и часто помнил его и знал наизусть. В деревне тоже мало уважали его за его чудачество, а главное за то, что он зашибал. Харчился он у Афанасьевны, и между ним и здоровой, круглолицей, веселой Наташкой установились какие-то странные отношения: он любил быть с ней, говорить не столько с ней, – потому что она мало говорила, больше смеялась, – любил говорить ей о доброй жизни, рассказывать ей о святых, а главное, о Христе, учил ее грамоте. Грамота плохо давалась ей; но [она] старалась, желая угодить ему, старалась также и слушать то, что он рассказывал ей, делая вид, что это занимает ее и что она понимает то, что он рассказывает.

То, что он сказал в это воскресенье о том, что он посватался [бы] за ней, он сказал спяща то, что у него было на уме. «Здоровая, простая женщина, будет добрая хозяйка, мать. Может, когда-нибудь заведусь землицей, домом. А главное дело, один не проживешь без греха. А уж этого греха нет хуже», – думал он.

Так он думал и в это воскресенье, обедая у Афанасьевны вместе с Натальей и ласково разговаривая с ней.

9

Иван Федорович Порхунов вернулся на другой день поздним утром. Александра Николаевна заснула только перед утром, и дочь Александра, которую звали Линой, и англичанка-гувернантка с тремя малышами – два у няни – встретили его в передней.

Перецеловав детей и, кроме поцелуя, ласково коснувшись курчавившегося затылка Лины, очень хорошенькой, с открытым, веселым, здоровым лицом шестнадцатилетней девочки, он улыбнулся ей.

– Ну, что мама? – сказал он.

– Она, кажется, очень поздно легла. А то была здорова.

– А что Неустроев? Не остался?

– Нет, нынче Петр Васильевич – это был старый слуга дома – сказал, что совсем уехал и вещи взял.

– Жалко. Хороший был и учитель и человек хороший, даром что революционер. Я все надеялся.

Ну, и ты молодец, все такой же забияка, – сказал он сынишке Пете и прошел к себе.

Возвращение домой, в свою семью, к привычной не только вещественной, но и духовной обстановке, всегда было не то что радостно, а было что-то вроде того, что снял узкий мундир, надел халат и туфли, перестал приглядываться, выбирать, а пустил поводья и, спокойно правя, подвигаешь и куда надо. Сильные, как на подбор, дети, хорошие, спокойные отношения с крестьянами, прислугой, привычные часы принятия пищи, отдых, диван, письменный стол, всегда интересное чтение и, главное, та же добрая, с своими недостатками, восторженностью, легкомысленностью, несмотря на годы, но хорошая, с золотым сердцем, любимая и любящая жена, друг, больше чем друг, а именно alter ego¹, которое разнообразило его одно свое однообразное его.

Он сам задремал у себя в кабинете, разбудила его жена.

– Ах, прости, я не думала, что ты спишь.

– Что за беда, спасибо, что пришла. Детей я видел. Ты как?

– Да я – я хорошо.

Они поцеловались. Он заметил, что она была как бы взволнована чем-то. Но это часто с ней бывало, и потому он, как и всегда делал, когда замечал, что она взволнована, делал вид, что не замечает этого, и рассказал ей про свою поездку.

– Ну, а что наш Неустроев, уехал?

– Думаю, что уехал. Он...

– Так ты не удержала его?

– Что ж я могла, – сказала она.

«Боже мой, как я отвратительна», – думала она про себя.

«И как я гадок, – думал про себя Иван Федорович, – что позволял себе думать про нее, что она могла увлечься им. Да, очень мы гадкие люди, не жившие чисто в своей молодости».

– Ну, что ж делать. Я напишу Мише. Он найдет нам студента.

– Да, надо будет, Звонок к завтраку. Я пойду. Ты придешь?

– Только просмотрю письма и приду. Ты не можешь себе представить, как хорошо вернуться домой, к тебе, к детям, к дивану своему.

«Неужели я буду иметь силы продолжать жить в этой лжи, в этой... гадости. Сказать нельзя. За что погубить его спокойствие? А молчать тоже нельзя, – думала она, выходя. Но тут же вспомнила его, его восторженно-влюбленное лицо, и почувствовала, что счастье его любви так велико, что можно страдать за него. – Только бы он не погубил себя, остался бы жив. Это, наверное, какое-нибудь отчаянное дело, и он возьмется за него. И тюрьма, смерть. Ох – не могу думать».

Стыд, раскаяние ее были так велики, что она не могла бы перенести их, если бы не верила в непреодолимость своей любви, и она невольно преувеличивала свою любовь. Это одно избавляло ее от муки стыда и раскаяния.

Она не то что воображала его человеком таким, подобных которому она никогда не встречала в своей жизни, даже таким, лучше которого не могло быть человека, но она действительно видела в нем все высшие совершенства. А видела она их оттого, что она любила его. Все не только нехорошее, что было в нем, исчезало для нее, а весь он был для нее составлен из тех добрых черт, которые были в нем. И ум, и тонкость понимания, художественное чутье, и доброта, и правдивость, и главное – самоотвержение, то самое самоотвержение, которое и погубит его.

Она вышла к завтраку, и обычные заботы поглотили ее и отвлекли – на время только отвлекли – и от ужаса раскаяния, и от любви к нему, и страха за него.

Но тем-то и страшна жизнь, что телесные поранения, всякие болезни не забываются и заставляют страдать и бороться; поранения же нравственные, духовные сглаживаются для людей, не живущих духовной жизнью, сглаживаются просто обычным течением жизни, мелкими интересами обихода, засыпаются мелким сором обыденной жизни. Так это было для Александры Николаевны.

Прошло три месяца. Жизнь шла обычным обиходом. Одно время усложнилась коклюшем детей. С мужем были прежние, обычные, добрые отношения, с детьми тоже; учитель новый, рекомендованный председателем управы, был смирный человек; приезжала семья брата мужа; приходилось ездить в город несколько раз и в столицу, где виделась с старыми друзьями. Про «него» ничего не было известно. Она следила внимательно за тем, что делалось в революционном мире. Шли экспроприации, террористические дела. Но про «него» не было слышно. Главное же, невидное, но самое ужасное для нее событие было то, что она теперь без сомнения узнала то, что она готовится быть матерью его ребенка.

10

В бедном квартале большого университетского города, в доме вдовы Перепелкиной уже второй

¹ второе я (лат.).

год жил Матвей Семеныч Николаев, по мирскому званию своему земский статистик, по революционному же положению своему член исполнительного комитета народолюбцев и глава кружка распространения социалистических идей между рабочими. Ему было тридцать два года, и он уже восемь лет, с четвертого курса университета, из которого он вышел, не окончив, весь отдался делу революции и занимал среди революционеров видное положение.

вторая редакция

Загорелось ночью от грозы, и спалило половину деревни. Из первых двух дворов ничего почти не успели вытащить. Сгорела и лошадь. Обгорел мужик. Бабы голосили, мужики работали. Евдоким Михашин, молодой малый – нынче осенью на призыв – вместе с отцом вытаскивал с двора обгорелые снасти.

– Чего бельма-то выпучил, берись за переводину-то. Аль оглох? – крикнул на него отец. Евдоким встряхнулся, точно разбудили его, и подался к отцу. Смотрел Евдоким, в то время как отец окликнул его, на подъехавшую к пожару коляску на паре рысистых серых. В коляске сидела барыня с девочкой. На козлах гладкий с расчесанной бородой бравый кучер в синей рубашке и плисовой безрукавке.

– Чего не видал? Полюбоваться приехали. Ну берись, что ль?

Евдоким взялся, но он плохо слушал и понимал отца, он весь был полон своими мыслями. Он думал не о пожаре, не об отце, матери, а об совсем другом. В деревне было важное событие – пожар, но у него в душе вчера только произошло такое важное событие, что он не мог даже и приписывать какою-нибудь важность общей беде всей слободы – 9 дворов пожару, так важно было то, что случилось в его душе. А именно вчера после прочтения книжки, которую ему дал дьяконов сын, в первый раз понял, что не ему надо подчиняться той жизни, среди которой он жил, а надо сделать жизнь такую, какую требует его разум, что эти бабы с иконами, которые должны потушить пожар, с царицей небесной, с этой барыней на рысаках рядом с вдовой Ульяной, с голодными раздетыми ребятами, с урядником, требующим подати, с гладким попом, собирающим волну, с царем, сидящим там где-то и думушки не думающим об измученном народе, с этими тысячами десятин богачей, с их заводами и фабриками, на которых живут рабами голодные рабочие, что всего этого не должно быть, что все это только от того, что как он прежде и как отец его, и дети, и самые уважаемые, умные мужики запутаны, обмануты, не понимают и не видят правды. Вчера это сделалось с ним, вчера он впервые понял, что он был окружен, как и все деревенские, стеной, даже сводом обмана, невежества, суеверия, и вчера часть этого свода развалилась в его душе, и он увидел весь просторный свет божий. И ему страшно, с одной стороны, стало думать о том, как он мог жить в этом мраке, и как его отец и все деревенские могут жить так. Отвалился один камень из свода, и он увидел весь вольный свет и почувствовал, что камни свода плохо держат и что теперь кто вывалит один из них, стоят только поналечь хорошенько, и все развалится. И вот теперь он был полон этими мыслями, и не слышал отца, и не думал о деле, а только о том, что происходило в его душе.

Сделалось это вчера, но готовилось это долго, давно уже.

третья редакция

1

Какая странная, удивительная моя судьба. Едва ли есть какой бы то ни было забитый, страдающий от насилия и роскоши богачей бедняк, который бы в сотой доле чувствовал, как я чувствую теперь, всю ту несправедливость, жестокость, весь ужас того насилия, издевательства богатых над бедными и всей подавленности, униженности – бедственности положения всего огромного большинства людей настоящего, трудящегося и делающего жизнь рабочего народа. Чувствовал я это давно, и чувство это с годами росло и росло и дошло в последнее время до высшей степени. Мучительно чувствую теперь все это и, несмотря на то, живу в этой развращенной, преступной среде богатых и не могу, не умею, не имею сил уйти из нее, не могу, не умею изменить свою жизнь так, чтобы каждое удовлетворение потребности тела – еда, сон, одежда, передвижение – не сопровождал сознанием греха и стыда за свое положение.

Было время, когда я пытался изменить это мое, несогласное с требованиями души положение, но сложные условия прошедшего, семья и ее требования не выпускали меня из своих тисков, или, скорее, я не умел и не имел сил от них освободиться. Теперь же, на девятом десятке, ослабевший телесными силами, я уже и не пытаюсь освободиться; и странное дело: по мере ослабления телесных сил, все сильнее и сильнее сознавая всю преступность своего положения, я все более и более страдаю от этого

положения.

И вот мне приходит мысль, что положение это мое недаром, что положение это требует от меня того, чтобы я высказал правдиво то, что я испытываю, и этим высказыванием противодействовал бы, может быть, тому, что так сильно мучает меня, открыл бы, может быть, глаза тем, или хотя бы некоторым из тех, которые не видят еще того, что я так ясно вижу, и облегчил бы, может быть, хотя отчасти положение того огромного большинства рабочего народа, которое страдает и телесно и духовно от того положения, в котором его держат обманывающие их и сами обманутые люди. И в самом деле, то положение, в котором я нахожусь, для того чтобы обличить всю ложь и преступность установившихся между людьми отношений, едва ли не самое лучшее и выгодное для того, чтобы сказать об этом положении всю настоящую правду, не затемненную ни желанием оправдать себя, ни завистью бедных и угнетенных против богатых и угнетателей. Я нахожусь именно в этом положении: я не только не желаю оправдываться, но мне нужно усилие, чтобы не преувеличить обличение преступности властвующих классов, среди которых я живу, общения с которыми стыжусь, положение которых ненавижу всеми силами души и от участия в жизни которых не могу освободиться. Точно так же я не могу впасть в обычную ошибку людей угнетенного и поработанного народа и демократов, его защитников, которые не видят недостатков и ошибок этого народа, а также не хотят видеть те смягчающие вину обстоятельства, сложные условия прошедшего, которые делают почти невменяемым большинство людей властвующих классов. Без желания оправдания себя и страха перед освобожденным народом, а также без зависти и озлобления народа к своим угнетателям, я нахожусь в самых выгодных условиях для того, чтобы видеть истину и уметь сказать ее. Может быть, для этого я и был поставлен судьбой в это странное положение. Постараюсь, как умею, использовать его. Хотя это хотя отчасти облегчит мое положение.

2

В богатом деревенском доме владельца более тысячи десятин земли гостил двоюродный брат его жены, Александр Иванович Волгин, уважаемый в своем мире холостяк, служащий в московском банке с жалованьем в восемь тысяч. С вечера, устав от игры с домашними по тысячной в винт, Александр Иванович, войдя в спальню, выложил на покрытый салфеточкой столик золотые часы, серебряный портсигар, портфель, большой замшевый кошелек, щеточку и гребенку, потом снял пиджак, жилет, крахмальную рубашку, двое панталон, шелковые носки, английской работы ботинки и, надев ночную рубашку и халат, вынес все это за дверь, а сам лег на чистую, нынче перестеленную пружинную кровать с двумя матрасами, тремя подушками и подшитым простыней одеялом. Часы показывали двенадцать. Александр Иванович закурил папиросу, полежал навзничь минут пять, перебирая впечатления дня, потом задул свечу и повернулся на бок и, хотя и долго ворочался, все-таки заснул около часа.

Проснувшись утром в восемь, он надел туфли, халат, позвонил. Старый, уже тридцать лет служащий в доме, отец семейства, дед шести внуков, лакей Степан поспешно, на согнутых ногах, вошел к нему с вычищенными до блеска вчера снятыми ботинками и всей выбитой и вычищенной парой и сложенной крахмальной рубашкой. Гость поблагодарил, спросил, какова погода, – сторы были задернуты, чтобы солнце не мешало спать хотя бы до одиннадцати, как спали некоторые из хозяев. Александр Иванович взглянул на часы: «Еще не поздно», и начал чиститься, умываться, одеваться. Вода была приготовлена, приготовлены, то есть вымыты и вычищены, вчера запачканные умывальные и чесальные принадлежности: мыло, щеточки для зубов, для ногтей, для волос, для бороды, ножички и пилки для ногтей. Не торопясь умывши лицо, руки, вычистив старательно ногти и оттянув полотенцем кожу на ногтях, потом обмыв губкой белое жирное тело и вымыв ноги, Александр Иванович стал чесаться. Сначала двойной английской щеткой расчесал перед зеркалом курчавую, седеющую по сторонам бороду на обе стороны, потом пробрал редким черепаховым гребнем, потом уже редящие волосы на голове. Потом частым гребнем вычесал голову, выкинул нечистую вату и заделал свежей. Надел нижнее белье, носки, ботинки, штаны, поддерживаемые блестящими помочами, жилет и, не надевая пиджака, чтобы отдохнуть после одеванья, присел на мягкое кресло и, закулив папиросу, задумался о том, куда он направит сегодняшнюю прогулку. «Можно в парк, а можно и в Порточки (такое смешное название лесу). Должно бы в Порточки. Да еще Сем. Н. письмо нужно ответить. Ну, да это после».

Он решительно встал, взял часы, – было уже без пяти девять, – положил в карман жилета, в карман штанов – кошелек с деньгами – то, что оставалось от ста восьмидесяти рублей, которые он взял для дороги и мелких расходов у приятеля во время тех двух недель, которые он намерен был прожить у него. Серебряный портсигар и электрическую машинку для зажигания папирос и два платка положил в пиджак, вышел, оставив, как это само собой разумелось, убирать весь беспорядок и всю нечистоту, произведенные им, Степану, пятидесятилетнему лакею, ожидавшему, как это всегда бывало, хороший

«гонорар», как он называл это, от Александра Ивановича и до такой степени привыкшему к этому делу, что при исполнении его не чувствовал уже ни малейшего отвращения.

Посмотревшись в зеркало и одобрив свою наружность, Александр Иванович пошел в столовую. Там заботами другого лакея, экономки и буфетного мужика, успевшего до зари уже сбегать к себе на деревню, чтобы наладить малому косу, в столовой, на чистой камчатной белой скатерти, уже блестел и кипел серебряный, или серебряного вида, самовар, стоял кофейник, горячее молоко, сливки, масло и всякого рода белый хлеб и печенье. За столом был только студент, учитель второго сына, и этот мальчик, и переписчица статей земского деятеля – хозяина дома и большого сельского хозяина. Он уже с восьми часов ушел по хозяйству.

За кофеом Александр Иванович поговорил с учителем и переписчицей о погоде, о вчерашнем винте и о Феодорите, о вчерашней его выходке, что он без всякого повода наругал отца. Феодорит был взрослый неудавшийся сын хозяев. Звали его Федором, но кто-то как-то, шутя или нарочно, назвал его Феодорит, и это показалось смешно, и так продолжали называть его и тогда, когда то, что он делал, было уже совсем не смешно. Так это было теперь. Был он в университете, со второго курса бросил, потом пошел в кавалергарды – и тоже бросил, и теперь жил в деревне, ничего не делал, и все осуждал, и всем был недоволен. Феодорит этот еще спал, и спали и все домашние, а именно: сама хозяйка, Анна Михайловна, сестра хозяина, вдова бывшего губернатора, и пишущий пейзажи живописец, живший в доме.

Александр Иванович взял в передней шляпу панама (она стоила двадцать рублей), трость с слоновой кости резным набалдашником (пятьдесят рублей) и пошел из дома. Выйдя через обставленную цветами террасу, мимо партера, в котором в середине была конусообразная клумба, убранная правильными полосами белых, красных, синих цветов и по бокам которой из цветов же были сделаны вензеля, инициалы имени, отчества и фамилии хозяйки, – мимо этих цветов Александр Иванович вошел в вековые аллеи лип. Аллеи эти чистили крестьянские девушки с лопатами и метлами. Садовник же что-то вымерял, а молодой малый вез что-то на телеге. Пройдя их, Александр Иванович вошел в парк старых деревьев, на расстоянии не менее пятидесяти десятин изрезанный прочищенными дорожками. Покуривая папироску, Александр Иванович прошел по своим любимым дорожкам мимо беседки и вышел в поле. В парке было хорошо, а в поле еще лучше. Направо так красиво красно-белыми пятнами виднелись собирающие картофель женщины, налево луг и жнивье и пасущееся стадо, а впереди, немного вправо, темно-темно-зеленые дубы Порточек. Александр Иванович дышал полной грудью и радовался на свою жизнь вообще и особенно теперь, здесь у сестры, где он так приятно отдыхал от своих трудов в банке.

«Счастливые люди, живут в деревне, – думал он. – Правда, Николай Петрович и здесь, в деревне, не может быть покоен с своими агрономическими затеями и земством, да вольно же ему». И Александр Иванович, покачивая головой, закуривая новую папироску и бодро шагая сильными ногами в твердой, толстой, английской работы обуви, думал о том, как он по зимам трудится в своем банке. «От десяти и до двух, а то и до пяти, иногда и каждый день. Ведь это легко сказать, а потом заседания, а потом частные просьбы. А потом Дума. То ли дело здесь. Я так доволен. Положим, она скучает, – ну, да это ненадолго». И он улыбнулся.

Погуляв в Порточках, он пошел назад напрямик по полю, по тому самому пару, который пахали. По пару ходила скотина крестьянская: коровы, телята, овцы, свиньи. Прямой путь к парку шел прямо через стадо. Овцы испугались его, одна за другой кинулись бежать, свиньи тоже; худые, небольшие две коровы устали на него. Пастушонок-мальчик крикнул на овец и хлопнул кнутом. «Какая отсталость, однако, у нас в сравнении с Европой, – подумал он, вспоминая свои частые поездки за границу. – Во всей Европе не найдешь ни одной такой коровы», И Александру Ивановичу захотелось спросить, куда ведет та дорога, которая под углом сходилась с той, по которой он шел, и чье это стадо. Он подозвал мальчика.

– Чье это стадо?

Мальчик с удивлением, близким к ужасу, смотрел на шляпу, расчесанную бороду, а главное на золотые очки, и не мог сразу ответить. Когда Александр Иванович повторил вопрос, мальчик опомнился и сказал:

– Наше.

– Да чье наше? – покачивая головой и улыбаясь, сказал Александр Иванович.

Мальчик был в лаптях и онучах, в прорванной на плече, грязной суровой рубашонке и в картузе с оторванным козырьком.

– Чье наше?

– А пироговское.

– А тебе сколько лет?

– Не знаю.

– Грамоте знаешь?

- Нет, не знаю.
- Что ж, разве нет училища?
- Я ходил.
- Что ж, не выучился?
- Нет.
- А дорога эта куда?

Мальчик сказал, и Александр Иванович пошел к дому, размышляя о том, как он подразнит Николая Петровича о том, как все-таки плохо, несмотря на все его хлопоты, стоит дело народного образования.

Подходя к дому, Александр Иванович взглянул на часы и к досаде своей увидел, что был уже двенадцатый час, а он вспомнил, что Николай Петрович едет в город, а он с ним хотел отправить письмо в Москву, а письмо еще не написано. Письмо же было очень нужное – о том, чтобы приятель и сотоварищ его оставил бы за ним картину, Мадонну, продававшуюся с аукциона. Подходя к дому, он увидел, что четверня крупных, сытых, выхоленных, породистых лошадей, запряженных в блестящей на солнце черным лаком коляске, с кучером в синем кафтане с серебряным поясом, стояли уже у подъезда, изредка побрякивая бубенцами. Перед входной дверью стоял крестьянин, босой, в прорванном кафтане и без шапки. Он поклонился. Александр Иванович спросил, что ему нужно.

- К Николаю Петровичу.
- Об чем?
- По нужде своей, лошаденка пала.

Александр Иванович стал расспрашивать. Мужик стал рассказывать о своем положении, сказал, что пятеро детей, и лошаденка одна и была, и заплакал.

- Что же ты?
- Да милости просить.

И стал на колени и прямо стоял и не поднялся, несмотря на уговоры Александра Ивановича.

- Как тебя звать?
- Митрий Судариков, – отвечал мужик, не вставая с колен.

Александр Иванович достал три рубля и дал мужику. Мужик стал кланяться в ноги. Александр Иванович вошел в дом. В передней стоял хозяин, Николай Петрович.

– А письмо? – спросил он, встречая его в передней. – Я сейчас еду.

– Виноват, виноват. Если можно, я сейчас напишу. Совсем из головы вон. Уж так хорошо у вас. Все забудешь. Так хорошо.

– Можно-то можно, но только, пожалуйста, поскорее. Лошади и так ждут с четверть часа. А мухи злые.

- Можно подождать, Арсентий? – обратился Александр Иванович к кучеру.
- Отчего же не подождать? – сказал кучер, а сам думал: «И чего велят закладывать, когда не едут.

Спешил с ребятами не знаю как, а теперь корми мух».

- Сейчас, сейчас.

Александр Иванович пошел было к себе, но вернулся и спросил у Николая Петровича про крестьянина, просившего помочь.

- Ты видел его?
- Он пьяница, но правда, что жалкий. Пожалуйста, поскорее.

Александр Иванович пошел к себе, достал бювар со всеми письменными принадлежностями и написал письмо, вырезал чек из книжки, надписал на сто восемьдесят рублей и, вложив в конверт, вынес Николаю Петровичу.

- Ну, до свиданья.

До завтрака Александр Иванович занялся газетами. Он читал одни «Русские ведомости», «Речь», иногда «Русское слово», но «Новое время», выписываемое хозяином, не брал в руки.

Переходя спокойно и привычно от политических известий о поступках царей, президентов, министров, решений парламентов, к театрам и научным новостям, и самоубийствам, и холере, и стишкам, Александр Иванович услышал звонок к завтраку. Трудами более чем десяти занятых исключительно только этим людей, считая всех, от прачек, огородников, истопников, поваров, помощников, лакеев, экономок, судомоек, стол был накрыт на восемь серебряных приборов, с графинами, бутылками вод, квасу, вин, минеральных вод, с блестящим хрусталем, скатертью, салфетками; и два лакея не переставая бегали туда-сюда, принося, подавая, убирая закуски, кушанья, холодные и горячие.

Хозяйка не переставая говорила, рассказывая про все то, что она делала, думала, говорила; и все то, что она делала, думала и говорила, все это, как она явно думала, было прекрасно и всегда доставляло величайшее удовольствие всем, кроме самых глупых людей. Александр Иванович чувствовал и знал, что

все, что она говорит, глупо, но не мог показать этого и поддерживал разговор. Феодорит мрачно молчал, учитель говорил изредка с вдовой. Иногда наступало молчание, и тогда Феодорит выступал на первый план, и становилось мучительно скучно. Тогда хозяйка требовала какого-нибудь нового, не поданного кушанья, и лакеи летали туда и назад, в кухню и к экономке. Ни есть, ни говорить никому не хотелось. Но все, хотя и через силу, ели и говорили. Так шло все время завтрака.

3

Крестьянина, который приходил просить на падшую лошадь, звали Митрий Судариков. Накануне того дня, когда он приходил к барину, он весь день прохлопотал сдохлым меринком. Первое дело ходил к Санину, драчу, в Андреевку. Драча Семена не было дома. Пока дождался, уговорился в цене за шкуру, дело было уже к обеду. Потом выпросил у соседа лошадь свезти мерина на погост: не велят закапывать, где сдох. Андреян не дал лошади, сам картошку возил. Насилу у Степана выпросил. Степан пожалел: подсобил и взвалить на телегу мерина. Отодрал Митрий подковы с передних ног, отдал бабе. Одна половинка только была, другая хорошая. Пока вырыл могилу – заступ тупой был, – и Санин пришел. Ободрал мерина, свалил в яму, засыпали. Уморился Митрий. С горя зашел к Матрене, выпил с Саниним полбутылки, поругался с женой и лег спать в сенях. Спал он не раздеваясь, в портках, покрывшись рваным кафтаном. Жена была в избе с девками. Их было четыре, меньшая у груди, пяти недель.

Проснулся Митрий, по привычке, до зари. И так и ахнул, вспомнив про вчерашнее, как бился мерин, [в] скакивал, падал, и как нет лошади, осталось только четыре рубля восемь гривен за шкуру. Он поднялся, оправил портки, вышел сначала на двор, а потом вошел в избу. Изба, вся кривая, грязная, черная, уж топилась. Баба одной рукой подкладывала солому в печь, другой держала девку у выставленной из грязной рубахи отвислой груди.

Митрий перекрестился три раза на угол и проговорил не имеющие никакого смысла слова, которые он называл «троицей», «богородицей», «верую» и «отче».

– Что ж, воды нет?

– Пошла девка. Я чай, принесла. Что ж, пойдешь в Угрюмую к барину?

– Да, надо идти.

Он закашлялся от дыма и, захватив с лавки тряпку, вышел в сени. Девка только что принесла воду. Митрий достал воды из ведра, забрал в рот и полил руки, еще забрал в рот и лицо обмыл, обтерся тряпкой и пальцами разодрал и пригладил волосы на голове и курчавую бороду и вышел в дверь. По улице шла к нему девчонка лет десяти, в одной грязной рубашонке.

– Здорово, дядя Митрий. Велели приходиться молотить.

– Ладно, приду, – сказал Митрий.

Он понял, что Калушкины, такие же, почитай, бедняки, как и он сам, звали отмолачивать за то, что на прошлой неделе у него работали на наемной конной молотилке.

– Ладно, приду; скажи, в завтрак приду. Надо в Угрюмую сходить.

И Митрий пошел в избу, достал онучи, лапти, обулся и пошел к барину. Получив три рубля от Александра Ивановича и столько же от Николая Петровича, он вернулся домой, отдал деньги бабе и, захватив лопату и грабли, пошел.

У Калушкиных молотилка уже давно равномерно гудела, только изредка заминаясь от застревавшей соломы. Кругом погоняльщика ходили худые лошади, натягивая постромки. Погоняльщик одним и тем же голосом покрикивал, на них: «Ну, вы, миленькие! Но-но». Одни бабы развязывали снопы, другие сгребали солому и колос, третьи бабы и мужики собирали большие охапки соломы и подавали их мужику на омет. Работа кипела. На огороде, мимо которого проходил Митрий, босая, в одной рубашонке, девочка руками выкапывала и собирала в плетушку картошку.

– А дед где? – спросил Митрий.

– На гумне дед.

Митрий прошел на гумно и тотчас же вступил в работу. Старик хозяин знал горе Митрия. Он, поздоровавшись с ним, указал, куда становиться – к омету, подавать солому.

Митрий разделся, свернул и положил к сторонке свой прорванный кафтан под плетень, а сам особенно усердно взялся за работу, набирая вилами солому и скидывая ее на омет. Работа без перерыва шла так до обеда. Петухи уж раза три перекликнулись, но им не то что не верили, но не слышали их за работой и переговорами о работе. Но вот с барского гумна за три версты послышался свисток паровой молотилки. И тут же подошел к гумну хозяин, высокий восьмидесятилетний, еще прямой, старик Масей.

– Что ж, шабашь, – сказал он, подходя к погоняльщику. – Обедать.

Еще живей пошла работа. Вмиг убрали солому того, что было вымолочено, на омет и очистили зерно с мякиной на току от колоса и пошли в избу.

Изба топилась тоже по-черному, но была уж прибрана, и вокруг стола стояли лавки, так что весь

народ, помолвившись на иконы, – всех было, без хозяев, девять человек, – [сел]. Похлебка с хлебом, картошка вареная с квасом.

Во время обеда в избу вошел нищий, безрукий, с мешком за плечами и с большим костылем.

– Мир дому сему. Хлеб да соль. Подайте Христа ради.

– Бог подаст, – сказала хозяйка, уже старуха, невестка старикова, – не взыщи.

Старик стоял у двери в чулан.

– Отрежь, Марфа. Нехорошо.

– Я только гадаю, как бы хватило.

– Ох, нехорошо, Марфа. Бог велить пополам делить. Отрежь.

Марфа послушалась. Нищий ушел. Молотильщики встали, помолились, поблагодарили хозяев и пошли отдохнуть.

Митрий не ложился, а сбегал к лавочнику купить табаку. Страсть курить хотелось. И покуда покалякал с деменским мужиком, расспросил о ценах на скот. Не миновать было продавать корову. И когда вернулся, уж люди становились опять на работу. Так шла работа до вечера.

И вот среди этих забитых, обманутых, ограбленных и ограбляемых, развращаемых, медленно убиваемых недостаточной пищей и сверхсильной работой, среди них на каждом шагу своей праздной, мерзкой жизни, прямо непосредственно пользуясь сверхсильным, унижительным трудом этих рабов, не говорю уж о трудах тех миллионов рабов фабричных, унижительными трудами которых: самоварами, серебром, экипажами, машинами и пр. пр., которыми они пользуются, – среди них живут спокойно люди, считающие себя одни христианами, другие – настолько просвещенными, что им не нужно уже христианство или какая бы то ни было другая религия, – настолько выше ее они считают себя. И живут среди этих ужасов, видя и не видя их, спокойно доживающих свой век, часто добрые по сердцу старики, старухи, молодые люди, матери, дети – несчастные, развращаемые, приготавливаемые к нравственной слепоте дети.

Вот старик, владетель тысяч десятин, холостяк, всю жизнь проживший в праздности, обжорстве и блуде, который, читая статьи «Нового времени», удивляется на неразумность правительства, допускающего евреев в университеты. Вот гость его, бывший губернатор, с оставленным окладом сенатор, который читает с одобрением сведения о собрании юристов, признавших необходимость смертной казни. Вот противник их Н. П., читающий «Русские ведомости», удивляющийся на слепоту правительства, допускающего Союз русского народа и.....

Вот милая, добрая мать девочки, читающая ей историю собаки Фукса, пожалевшего кроликов. И вот эта милая девочка, которая видит на гулянье босых, голодных, грызущих зеленую падаль – яблоки, и привыкающая видеть в этих детях не себя, а что-то вроде обстановки, пейзажа.

Отчего это?